

Старуха Соваж / новелла

Category: Hekaýalar, Kitapcy

написано kitapcy | 23 января, 2025

Старуха Соваж / новелла СТАРУХА СОВАЖ

Жоржу Пуше.

I.

Я не был в Вирелони целых пятнадцать лет. Осенью я приехал туда поохотиться у приятеля моего Серваль, который наконец-то собрался отстроить в своем поместье дом, разрушенный пруссаками.

Мне бесконечно нравились эти места. Есть на свете такие прелестные уголки – поистине чувственная отрада для глаз. Их любишь чуть ли не физической любовью. У нас, у людей, привязанных к земле, есть знакомые ручейки, леса, пруды, холмы, о которых вспоминаешь с нежностью и умилением, как о радостных событиях. Бывает даже, что увидишь один только раз в погожий день какой-нибудь перелесок, или обрыв, или фруктовый сад, осыпанный цветом, и возвращаешься к ним мыслью и хранишь их в сердце, как образы тех женщин в светлых воздушных нарядах, которых довелось встретить на улице весенним утром, и неутолимо, неустанно желать потом душой и телом, точно это само счастье прошло мимо.

В Вирелони мне была мила вся местность, усеянная рощами, пересеченная ручейками, что вьются по земле, как кровеносные жилки. В них ловили раков, форелей и угрей. Райское блаженство! Местами в них можно было купаться, а среди высоких трав, растущих вдоль этих речонок, нередко случалось набрести на куликов.

Я шагал с легкостью козы, наблюдая за обеими моими собаками, рыскавшими впереди. Серваль в ста метрах вправо обследовал поле люцерны. Я обогнул кустарник, который служит границей Содрского леса, и увидел разрушенную хибарку.

И вдруг мне припомнилась она, какой я видел ее в последний

раз, в 1869 году, опрятная, увитая виноградом, с курами у крыльца.

Что может быть печальнее, чем остов мертвого дома, гниющий, зловещий?

Припомнилось мне также, что в один из очень утомительных дней старуха-хозяйка попотчевала меня в этой хижине стаканом вина, а Серваль попутно рассказал мне историю ее обитателей.

Отец, старый браконьер, был убит жандармами. Сын, которого я видал когда-то, рослый, сухопарый малый, тоже слыл лютым истребителем дичи. Звали их Соважами [1].

Не знаю, была ли это их фамилия или прозвище.

Я окликнул Серваля. Он поспешил ко мне своим обычным журавлиным шагом.

— Что случилось с хозяевами домика? — спросил я его.

Вот какую повесть поведал он мне.

[1] Sauvage (франц.) — дикий.

II.

Когда была объявлена война, Соваж-младший, которому тогда исполнилось тридцать три года, пошел волонтером, оставив мать одну в доме. Никто особенно не жалел старуху, потому что известно было, что у нее водятся деньги. Итак, она осталась совсем одна в этом уединенном жилище, поодаль от деревни, у самой опушки леса.

Впрочем, она и не боялась, так как была одной породы с мужем и сыном, крепкая старуха, высокая и костлявая; смеялась она не часто и шуток не допускала. Вообще крестьянки редко смеются. Это уж мужское дело. У них же душа скорбная и замкнутая, под стать их унылой, беспросветной жизни. Мужчина иногда приобщается к шумному веселью кабака, а жена его всегда сумрачна, и вид у нее строгий. Мышцы ее лица не приучены сокращаться от смеха.

Старуха Соваж продолжала обычную жизнь в своем домишке, который вскоре замело снегом. Раз в неделю она являлась в деревню купить мяса и хлеба, а затем возвращалась домой. Так как поговаривали о волках, она выходила с ружьем за плечами,

ружьём сына, ржавым, с истертым прикладом; любопытное зрелище представляла собой эта рослая, чуть согбенная старуха, когда она крупным шагом, не спеша шествовала по снегу, а ствол ружья виднелся из-за черного чепца, который покрывал ее голову и прятал от посторонних глаз седые волосы.

Но вот настал день, когда пришли пруссаки. Их разместили по деревне соответственно имуществу и доходам хозяев. Старуха считалась богачкой, и к ней поселили четверых немцев.

Это были четыре статных малых, белотелые, с белокурыми бородами, голубыми глазами, упитанные, несмотря на тяготы похода, и вполне миролюбивые для победителей. Очутившись на постое у старой женщины, они всячески старались ей услужить, по мере возможности избавить ее от издержек и хлопот. По утрам они плескались у колодца без мундиров, обнажив в резком свете зимнего дня бело-розовые тела северян, меж тем как старуха Соваж готовила похлебку. Затем они убирали и подметали кухню, кололи дрова, чистили картофель, стирали белье – словом, хлопотали по хозяйству, как четыре примерных сына вокруг матери. Но она-то, старуха, непрестанно думала о своем родном сыне, о сухопаром черноглазом молодце с ястребиным носом, с густыми усами, словно черной бахромкой над верхней губой. Каждый день спрашивала она у каждого из своих постояльцев:

– Не знаете, куда девался французский полк, двадцать третий, пехотный? Сынок мой там служит.

– Не знать, совсем не знать, – отвечали они. И, понимая ее тоску и тревогу – ведь у них дома тоже остались матери, – они всячески ухаживали за ней. Впрочем, и сама она благоволила к своим четырем врагам, ибо патриотическая ненависть свойственна только высшим классам – крестьянам она чужда. Неимущим, тем, кому это обходится дороже всего, потому что они бедны и каждая лишняя издержка для них непосильное бремя, тем, кого убивают пачками, кто, собственно, и является пушечным мясом, потому что их большинство, тем, наконец, кто больше всех страдает от жестоких бедствий войны, потому что они слабее всех, а значит, и менее выносливы, – им совсем непонятен ни воинственный задор, ни особая щепетильность в вопросах чести, ни так называемые политические комбинации, которые в полгода доводят

до полного истощения обе нации – и победительницу и побежденную.

О немцах старухи Соваж в деревне принято было говорить: «Вот уж кому повезло!»

Но как-то утром, когда старуха была дома одна, она увидела вдали на равнине человека, направляющегося в сторону ее жилья. Вскоре она узнала его – это был деревенский почтальон. Он вручил ей письмо; она достала из футляра очки, которые надевала во время шитья, и прочла:

«Мадам Соваж, настоящим письмом сообщаем вам печальную весть. Сынок ваш, Виктор, убит вчера ядром, которое, прямо сказать, разорвало его пополам. Я находился возле, потому что в роте мы всегда были рядом, и он мне о вас говорил, чтобы я сразу же известил вас, в случае если с ним стряется беда. Я вынул у него из кармана часы, чтобы доставить вам, когда кончится война.

С дружеским приветом Сезар Риво, солдат второго разряда 23-го пехотного полка».

Письмо было трехнедельной давности.

Она не плакала. Она сидела неподвижно, настолько потрясенная и ошеломленная, что даже не чувствовала боли. Она думала: «Вот и Виктора убили». Потом мало-помалу слезы подступили к глазам и скорбь хлынула в сердце. Одна за другой возникали у нее мысли, ужасные, мучительные. Больше никогда не поцелует она его, своего мальчика, своего молодца. Жандармы убили отца, пруссаки убили сына. Ядро разорвало его пополам. И ей представилась картина, страшная картина: голова отлетает и глаза открыты, а ус он закусил, как обычно, когда сердился. Куда же девали его тело? Хоть бы отдали ей сына, как отдали мужа с пулей посреди лба.

Но тут она услышала голоса. Это пруссаки возвращались из деревни. Торопливо спрятав письмо в карман, она встретила их спокойно, и лицо у нее было обычное, – глаза она успела тщательно вытереть. Немцы весело смеялись в восторге от того, что принесли жирного кролика, без сомнения краденого, и

знаками показывали старухе, что нынче удастся вкусно покушать. Она сейчас же принялась готовить завтрак, но когда дело дошло до кролика, то убить его у нее не хватило духа. И сказать бы, что ей приходилось делать это впервые! Один из солдат прикончил кролика ударом кулака в затылок.

Когда зверек был мертв, старуха содрала шкурку с окровавленного тельца; но вид крови, которая сочилась ей на руки, теплой крови, которая постепенно остывала и свертывалась, приводил старуху в дрожь; ей все виделся ее мальчик, разорванный пополам и тоже окровавленный, как это животное, еще не переставшее содрогаться.

Она села за стол вместе со своими пруссаками, но не могла проглотить ни кусочка. Они сожрали кролика, не обращая на нее внимания. Она молча искоса глядела на них, и в голове ее зрел план, но лицо было так невозмутимо, что они ничего не заметили.

Неожиданно она сказала:

— Я даже имен-то ваших не знаю, а вот уж месяц, как мы живем в одном доме.

Они не без труда поняли, что она хочет, и назвали свои имена. Но этого ей было мало; она заставила их записать на бумажке все имена вместе с домашними адресами и, снова надев на свой крупный нос очки, присмотрелась к начертаниям чуждых букв; затем сложила бумажку и спрятала в карман, где лежало письмо с извещением о смерти сына.

Когда завтрак кончился, она сказала немцам:

— Пойду похлопочу для вас.

И принялась таскать сено на чердак, где они ночевали. Их удивило ее занятие; она объяснила, что так им будет теплее. Тогда они взялись помогать ей и навалили сена до самой соломенной крыши; у них таким образом получилось нечто вроде комнаты, выложенной сеном, душистой и теплой, где им будет спаться на славу.

За обедом один из них всполошился, заметив, что старуха опять ничего не ест. Она заявила, что у нее колики. Затем она разожгла огонь, чтобы согреться, а четверо немцев, как обычно, взобрались на ночь к себе по приставной лесенке.

Как только люк захлопнулся, старуха убрала лесенку, потом бесшумно открыла наружную дверь и натащила со двора полную кухню соломы. Она ступала по снегу босыми ногами так тихо, что не было слышно ни звука. Время от времени она прислушивалась к зычному разноголосому храпу четырех спящих солдат.

Сочтя приготовления законченными, она бросила в очаг одну из вязанок и, когда солома загорелась, рассыпала ее по остальным вязанкам, потом вышла и стала наблюдать. Резкий свет вмиг озарил внутренность хибарки, и сразу же там запылал чудовищный костер, грандиозный горн, пламя которого било в узкое оконце и падало ослепительным отблеском на снег.

И тут сверху, с чердака, раздался отчаянный крик, перешедший в слитный вой человеческих голосов, душераздирающие вопли ужаса и смертной тоски. Затем, когда потолок рухнул внутрь, вихрь огня взвился к чердаку, прорвался сквозь соломенную крышу и поднялся к небу гигантским факелом; вся хижина пылала.

Теперь изнутри слышно было только, как гудит пожар, трещат стены и рушатся стропила. Крыша вдруг завалилась, и из огненного остова дома в воздух, вместе с клубом дыма вырвался сноп искр.

Белая равнина, озаренная огнем, сверкала, как серебряная пелена с красноватым отливом.

Вдали зазвонил колокол.

Старуха Соваж стояла неподвижно перед своим разрушенным жилищем и в руках держала ружье, ружье сына, – на случай, если бы кто-нибудь из немцев выбежал.

Убедившись, что все кончено, она швырнула ружье в огонь. Раздался взрыв.

Отовсюду бежали люди – крестьяне, пруссаки. Старуху застали сидящей на пне, спокойную и удовлетворенную.

Немецкий офицер, говоривший по-французски, как француз, спросил ее:

– Где ваши постояльцы?

Она протянула костлявую руку к багровой груди гаснущего пожара и ответила твердым голосом:

– Там, внутри!

Народ толпился вокруг нее. Пруссак спросил:

– Как загорелся дом?

– Я подожгла его, – произнесла она.

Ей не поверили, решили, что она рехнулась с горя. Тогда она рассказала теснившимся вокруг слушателям все, как было, с начала до конца, от получения письма до последнего вопля людей, сгоревших вместе с ее домом. Она подробно описала все, что переживала, все, что сделала.

Кончив, она извлекла из кармана две бумажки и, чтобы различить их при последних вспышках пламени, надела очки, а затем произнесла, показывая на одну из них:

– Это о смерти Виктора.

Показывая на вторую, она пояснила, кивнув в сторону тлеющих развалин:

– Это их имена, чтобы написать к ним домой.

И, спокойно протянув листок бумаги офицеру, державшему ее за плечи, добавила:

– Напишите, как это случилось, и не забудьте рассказать их родителям, что сделала это я, Виктуар Симона по прозвищу Соваж!

Офицер по-немецки отдал распоряжение. Старуху схватили, приставили к не успевшей еще остыть стене ее дома. Потом двенадцать человек торопливо выстроились напротив нее на расстоянии двадцати метров.

Она не шевельнулась, она поняла, она ждала.

Прозвучала команда, за ней тотчас грянул залп, затем одиноко прокатился запоздалый выстрел.

Старуха не упала. Она села, как будто у нее подкосились ноги.

К ней подошел прусский офицер. Она была почти разорвана пополам, а в судорожно сжатой руке она держала письмо, пропитанное кровью.

Мой приятель Серваль добавил:

– Вот в отместку немцы и разрушили тогда дом в моем поместье.

Я же думал о матерях четырех добрых милых, сгоревших в хижине, и о жестоком геройстве другой матери, расстрелянной подле этой стены.

И я поднял с земли еще черный от копоти камешек.

* * *

Ги де Мопассан. Собрание сочинений в 10 тт. Том 3. МП
«Аурика», 1994

Перевод Н. Касаткиной Некаýalar